

Амаяк Тер-Абрамянц

*Рассеянный
склероз, или
Серебряный
шар будущего*

Рассказы



Амаяк Тер-Абрамянц

**Рассеянный склероз,
или Серебряный шар
будущего. Рассказы**

«Издательские решения»

Тер-Абрамянц А.

Рассеянный склероз, или Серебряный шар будущего. Рассказы /
А. Тер-Абрамянц — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-830007-3

Живые рассказы современного признанного российского писателя о жизни и смерти, о том, как сохранить достоинство в трудной ситуации, о зияющих прорехах в памяти постсоветского общества.

ISBN 978-5-44-830007-3

© Тер-Абрамянц А.
© Издательские решения

Содержание

Капитан Клятов	6
1	6
2	8
3	10
4	12
5	14
Стукач	16
Витькин коммунизм	21
Первый писатель	27
Мёртвая точка	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Рассеянный склероз, или Серебряный шар будущего Рассказы

Амаяк Тер-Абрамянц

© Амаяк Тер-Абрамянц, 2016

Редактор Татьяна Игоревна Балаховская

Редактор Семён Самуилович Виленский

Корректор Татьяна Геннадиевна Дмитриева

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Капитан Клятов

*Прощай любимый город!
Уходим завтра в море.
И ранней порой
Мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой.*

А. Чуркин

1

Будь прокляты, эти немцы! Будь прокляты, эти немцы!... Ничего, ничего, Павлик, не бойся – видишь какие наши матросы большие, сильные! Это наши матросы, краснофлотцы, самые смелые, самые сильные!... Дрожишь? Холодно? Давай я тебя в свою кофточку... вот так. Ну и что ж что места внизу нет: внизу много народу, внизу жарко и дышать нечем, пахнет, пахнет плохо, Павлик, а здесь на палубе свежий воздух, ветер, солнце... смотри как красиво: небо голубое, облака... море какое зеленое, как стекло, а на волнах белые барашки... Тошнит? – Это ничего, это оттого, что немного качает, это ничего: привыкнешь, пройдет и станешь у меня настоящим моряком, морским волком, да?.. Не станешь? Ну, тогда доктором, обязательно доктором.

Отойти от установки? Да куда же мы? – Ладно, постараемся, в тесноте да не в обиде, и теплее будет... Жарко будет? Шутите, товарищ раненный, здесь же дети! Это самолет? Это чей самолет? Наш, наш, конечно, наши соколы... Господи помоги, зачем он так воет?...

«Не вижу! – орал наводчик зенитки с перевязанной буро-серой тряпкой головой, – от солнца, гад, заходит!»

Матери закрывали собою детей, раненные невольно втягивали головы в плечи, съеживались, будто желая уменьшиться до размера насекомого, вжаться в палубу, забиться в щели...

Равномерно застучала зенитка, выбрасывая на палубу дымящиеся гильзы.

– Га-ады! Га-ады! – стонала толпа беженцев и раненных на палубе, а из трюма, где ничего не видели и не ведали, поднимался утробный вой и стон слепого ужаса.

Открыли огонь и зенитки на бортах, лениво бухнул из орудий, идущий поодаль крейсер «Киров» по неведомой цели.

– Дети же здесь! – визжала обезумевшая женщина, встав во весь рост и потрясая кулачками, но ее жалкий вопль и крики других перестали быть слышными в нарастающем пронзительном вое пикирующего на судно бомбардировщика. На серых крыльях мелькнули черные крестики, а за ботом взвился столб воды, от ударной волны судно резко дернулось и с пораженной осколками надстройки что-то посыпалось и зазвенело.

– Доктора! Доктора!... Кровь остановите... Да рвите же вы ваше платье... Черт бы подрал их... Уходит, уже уходит, да не плачь, не реви!...

– Мама, мама, смотри, а это МИНА?...

– Где, какая еще МИНА?

– ТАМ... ТАМ!... МИНА!... МИНА!!!

Меж зеленых волн покачивался черный рогатый шар со шматком желто-зеленых водорослей, игриво накрученных на один из рогов, будто башка подвыпившего морского черта вышедшего прогуляться по илистому дну.

– МИНА! – МИНА ПО КУРСУ, ПРАВО НА БОРТ, СТОП МАШИНА!...

Но инерция слишком велика, медленно, но неуклонно сокращается пространство воды меж миной и зеленой ватерлинией, черт делает еще один шаг и к небесам взрывается вихрь воды и обломков. Вздрогнула палуба, все больше стала крениться к носу, кто стоял – попадал, ринулась, забирая пространство, зеленая вода, катятся серые комки в мелкие волны. Кричат все, каждый о своем и каждый об одном...

2

Адмирал Трибуц не отнимал от глаз бинокля, наблюдая, как впереди идущий транспорт «Эдда», гудя сиреной, стремительно погружался носом в море – погибал, потому что при нем не было ни одного минного тральщика. Под скулами его ходили желваки, обычно живое лицо онемело от бессонницы и ничего не выражало. Семь минных тральщиков терлись рядом с гордым «Кировым», красой балтийского флота, на котором находился он, семь минных тральщиков должны были охранить «Киров» от любой случайности, да еще параван-охранитель – стальная полуподводная рама вокруг носа и передней части корпуса крейсера, предохраняющая от нежелательных непосредственных столкновений с рогатыми чудовищами.

Надо было думать об эскадре, прежде всего об эскадре!

– Самый малый вперед, – приказал Трибуц.

Гремели бортовые орудия и зенитки при очередных заходах юнкерсов, то и дело внезапно обрушивающихся из клочкастых серых балтийских облаков на растянувшиеся в десятки километров, часто сбившиеся с курса и бредущие по минным полям, как овцы потерявшие пастуха, суда конвоев. Но эскадра держалась, почти не нарушая строй, чуть в стороне от десятков и сотен грузовых транспортов (их никто так и не сосчитал), забитых беженцами, ранеными, солдатами гарнизона, успевшими покинуть Таллин – главную базу Краснознаменного Балтийского Флота до вчерашнего дня. Все эти караваны были оснащены лишь минимальным прикрытием катеров морских охотников (МО), эсминцев и тральщиков, в большинстве своем уже отправившимися на дно.

– Позор! – вдруг услышал Трибуц под своим ухом, – позор!

Он резко оглянулся: это был капитан третьего ранга Клятов, хороший моряк, как он слышал от Сухорукова, капитана «Кирова».

Клятов тоже смотрел на тонущее судно остекленевшими глазами. – Мы не защищаем женщин и детей, а защищаем себя... Мы, военные моряки!

– Что?!. Что вы себе позволяете говорить? – взорвался Трибуц (бессонные ночи и усталость дали себя знать), – Да вы понимаете, *что* вы несете? – Да как вы смеете порочить честь Краснознаменного Балтийского Флота! За это и ответить можно по всей строгости, предупреждаю!

Он немного перевел дух.

– Мы ни за кого не прячемся, капитан, и если есть возможность – всегда поможем! Но есть приказы, инструкции, которые не обсуждаются! Людей ему жалко... А вы подумали о кораблях, которые мы должны довести в Ленинград? Вы подумали, что они там нужны для обороны, их мощные орудия, зенитки? Сколько мы людей *там* должны спасти?..

Клятов молчал, насупившись:

– Мы не сделали даже попытки...

– Молчать!

Возьмите себя в руки, товарищ капитан третьего ранга! Нервы у вас просто расшатались, нервы! А пока марш в кубрик и чтобы я вашей кислой физиономии до конца перехода не видел!

– Есть! – козырнул Клятов и загрохотал по трапу мостика вниз.

С левого крыла мостика подошел капитан «Кирова» Сухоруков.

– Нервные у вас подчиненные, – проворчал Трибуц, – прямо дамочки какие-то из драмкружка!

Сухоруков тактично промолчал, мудро решив, что происшедшее на мостике до него не имеет прямого отношения к оперативно-тактической обстановке.

Трибуц вновь поднял бинокль, обозревая акваторию. На месте, где находилась «Эдда», плавали лишь какие-то обломки и мелькали среди волн черные точки – головы людей. Оди-

нокий Морской Охотник, проходящий недалеко, резко изменив курс, бесстрашно, невзирая на минную опасность, бросился спасать тех, кого еще можно было спасти.

Трибуц отнюдь не был человеком жестоким, скорее наоборот, но жалость свою он научился скрывать и подавлять, иначе в данных обстоятельствах она бы могла помешать действовать. А сейчас надо было превратиться в машину! Кроме того жалость это чувство к индивидуальному – человеку, животному, а душа человеческая не в силах вместить сочувствия к слишком большому числам. Но он вовсе не смотрел равнодушно на появляющиеся и исчезающие в волнах черные точки, имя этому чувству было другое – досадливая горечь.

Но инцидент с Клятовым не выходил из головы.

Дон Кихот! Легко ему рассуждать. Да что он вообще понимает и знает? Знает ли он, что ему, Трибуцу не раз намекали сверху, чтобы вообще оставить весь гарнизон, беженцев, а увести только военный флот?! И вот за это, за то, что он взял, сколько мог, солдат и беженцев, что он считает, может быть, своей главной заслугой, его никто не похвалит – ни командование, ни люди, перенесшие ужасы перехода...

И за спешку с эвакуацией будут ругать, что оставил на пристани 5 тысяч солдат на милость немцев. А что он мог сделать? Если по разумному, эвакуацию можно было бы постепенно начинать, за две недели и забрать все до последнего гвоздя, но попробовал бы он сам только пикнуть об отходе из **Таллина, его бы сразу расстреляли, обвинив в трусости и паникерстве – так** было уже с несколькими генералами. Вот и пришлось ждать, пока не пришел приказ сверху от Ворошилова, когда уже и этой деревянной башке стало очевидно, что Таллин не удержать, вот и пришлось то, что можно было сделать основательно за две недели сделать всего лишь за два дня!

Но дальше всего он отгонял от себя мысль самую вредную и каверзную. О том, что «Киров» он так бережет, избегая всяких мнимых и действительных опасностей не столько ради заботы о флоте, но из страха за себя – ведь это любимое детище вождя, за которое он отвечает головой.

3

Перед тем как уйти в кубрик, Клятов оглянулся: тут и там над морем и из-за горизонта косо вытягивались дымы горящих судов. Сплюнув, он затопал тяжелыми флотскими ботинками по узкому трапу вниз.

В кубрике, несмотря на свет иллюминаторов, было сумрачно. Поодаль, прямо на шинели полулежал матрос в тельняшке с перебинтованными глазами и поминутно повторял: «Доктор, доктор, я видеть буду?». «Буде, буде», – успокаивал его сидящий рядом другой матрос с перевязанной рукой. Тут находился и Дубровский, корреспондент флотской газеты, воспевающей подвиги краснофлотцев. Вид у него был совсем не героический: рыжие волосы растрепались оттого, что он часто нервно чесал голову. Перед ним на столе лежала записная книжка, в которую он с начала перехода еще не внес ни строки и авторучка с золотым пером – подарок жены в день свадьбы.

– Как там? – с надеждой спросил он, завидев Клятова.

– Можете записать: потопили 10 немецких подлодок, – усмехнулся Клятов. – Вы бы сами вышли, глянули.

– Не могу, – обхватил голову Дубровский, – вы не думайте, я не из страха, вернее я боюсь, но не оттого... – принялся он торопливо объяснять. – Там мои, понимаете, мои на «Виронии», жена с сыном... – он громко сглотнул. – Верите ли, мне кажется, что я чем-то притягиваю на них мины и бомбы, моя тревога притягивает. Вы верите в приметы?

– Нет.

– Я тоже не верил...

Клятов вытащил армейскую флягу, сходил за стаканами, поставил перед собой и Дубровским и плеснул в каждый.

– Я не пью, – запротестовал Дубровский.

– Ну, так и не пейте, – равнодушно молвил Клятов, взяв граненый стакан. – Только что на моих глазах «Эдда» затонула, там друг мой, старопомом, Сашка Гордеев, мы с ним три дня назад в «Золотом льве» сидели, в Таллине...

Он выпил спирт и занюхал суконным рукавом бушлата. – а сколько там было гражданских, женщин, детей, я видел, как они с пристани по трапу поднимались, с чемоданами, игрушками – куклами, лошадками всякими...

– Все? – ахнул Дубровский.

– Может и не все, может Сашка продержится и катер подберет...

Дубровский внезапно схватил стоящий перед ним стакан и одним махом выпил и задохнулся: покраснел, вытаращил светлые глаза, шумно продышался.

Клятов молча смотрел в иллюминатор, за которым плескалась мелкая чугунная волна, и по потолку кубрика шли и исчезали ячеистые блики, раненный затих и ему вдруг показалось, что все они в кубрике утопленники, которым уже все равно ничем не поможешь.

– Еще неделю назад мы с женой и сыном гуляли у «Русалки» и казалось все так надежно, немцы не прорвутся, ведь никто не говорил об эвакуации!

– Слухи были! – поднял палец Клятов.

– Слухи да, но я же сознательный советский человек, я не должен им верить!

– Однако, оказалось правда, – усмехнулся капитан. – Или вы только правду пишете в своей газете?

– Оказалось – правда, – поник Дубровский, быстро и опасливо и как бы оценивающе взглянув на собеседника.

– Послушайте, вы же военный человек, – снова встрепенулся он, – вы же можете объяснить... Ну, понятно почему мы северным фарватером не пошли – там финский берег, под-

лодки, торпедные катера, «Тирпиц» может объявиться, но почему мы не пошли южным, протраленным фарватером, а поперли по центральному, прямо на минные поля Юминды! – он в отчаяньи ударил ребром ладони по столу.

– Говорят, береговая артиллерия у немцев... хотя какая сухопутная артиллерия сравнится с нашей флотской крупнокалиберной с крейсеров да эсминцев, да мы бы их в два счета подавили, держали же Таллин только на заградительном огне артиллерии целых три дня!

– Что же мне писать?

– А вы ничего и не пишете...

– Хорошо, можно не писать, но жертвы, жертвы!.. Знаете, мне иногда кажется – тут крупной диверсией пахнет...

Клятов расстегнул бушлат и откинулся на спинку стула.

– Врагов много, – устало произнес он. – Внутренних, – зевнул. – Они все путают... А ОН не может же быть всегда и везде... Враги, враги, куда ни кинь – враги, выходит мало их раскрывали...

– Да, наверное, вы правы, – но есть же конкретные люди или конкретная личность, наконец, которая в ответе за то, что здесь творится?

– Может и так...

– Трибуц!!! – выдохнул, глядя ему прямо в глаза Дубровский.

– Нет, я сам присутствовал на вчерашнем совещании, где обсуждался южный фарватер и адмирал Ралль на нем настаивал, а Трибуц сказал, что все уже решено выше и видно, что он просто исполняет чей-то приказ, хотя ему это и не нравится. Надо, думаю, брать выше...

– Господи, сколько ни боремся с этими внутренними врагами, а их все не меньше и при такой мощной службе безопасности, почему?... или... – глаза Дубровского внезапно расширились от ужаса – или вы хотите сказать...

– Что я хочу сказать?

– БЕРИЯ?.. – тихо выдохнул Дубровский.

...

– Доктор, я видеть буду? – снова застонал раненный в углу, мотнув перевязанной головой.

– Та Будэ, будэ, ще як будэ бачить, – успокаивал устало его товарищ.

4

Нехорошо сощурившись, сжав погасшую трубку, вождь перечитывал донесение, пытаюсь вникнуть между строк: эти сволочи, эти трусы и предатели сделают все, чтобы скрыть от него правду, свои грехи перед ним. Но даже после первого прочтения, составленного наверняка как можно более прилаженно и хитроумно, когда относительные удачи выгодно оттеняются, а неудачи затушеваны, становилось ясно, что это чудовищный разгром: более половины судов не дошло, хотя цифры потерь, наверняка, всеми правдами и неправдами были приуменьшены.

– А-а ...! – вырвалось из-под рыжих прокуренных усов вождя грузинское матерное и в приступе злобы, которая побеждала все чаще проявляющуюся немочь, он еще крепче сжал трубку. – Трибуц, ах, Трибуц! Конвой, конвой погубил, негодяй! Расстрелять его!

Но что-то оставалось не до конца выясненным, и вождь снова разжег трубку, встал из-за длинного стола и принялся расхаживать по зеленой ковровой дорожке кабинета как обычно, когда надо было поразмыслить о чем-нибудь важном и принять окончательное решение.

Трибуц ему никогда не нравился, этот представитель новой скороспелой военной элиты, оказавшийся неожиданно для себя адмиралом в результате колоссальных должностных вакуумов, возникших после чудовищных репрессий. Здесь была скрытая и особенно досадная для вождя параллель: Трибуц – бывший фельдшер, лекпом, ставший по прихоти дуры-судьбы адмиралом одного из самых сильных в мире флотов и он, бывший семинарист из Гори, ставший вождем самой громадной в мире страны. Но эту причину неприязни вождь не доводил до собственного сознания: вождям копать в себе некогда и ни к чему – не нравится – и все тут, а если не нравится почему-то кто, раздражает – убрать подальше, а лучше – расстрелять (причину Лаврентий всегда придумает), – ну а тут и придумывать ничего не надо!

Трибуц, Трибуц... – он подошел к наглухо зашторенному окну, вытянул было руку, чтобы отвести штору и взглянуть на кремлевские звезды, но вовремя ее отдернул: а что если снаружи кто-нибудь увидит шевеление занавески и догадается, что ОН здесь, а там в охране люди с винтовками стоят, снайперы на каждом углу – вдруг кому что в голову придет? Да и больные на голову бывают, а для остальных здоровыми кажутся. Он сам знает, не хуже этого старикашки Бехтерева, который его, ЕГО! объявил сумасшедшим!.. Разве нормальный может себе смерти желать? Ну и кто из них сумасшедший? – Он сам доказал и спит в земле сырой.

Никому и никогда нельзя верить! Южный фарватер захотели они, где немцы в двух шагах, – им еще сдать на харчи Гитлера захочется, а не воевать!.. И такую возможность он должен был предусмотреть! Ведь миллионы негодяев, трусов и предателей так и сделали! Где 48-я армия?.. И Клим, Клим его сразу понял, только про южный фарватер заговорили эти адмиралы – и Кузнецов, и Исаков... Клим хоть и дурак, но нюх у него, есть нюх...

– Хэр вам, а не южный фрватэр! – вслух объявил вождь, обращаясь к пустому длинному столу, за которым обычно он рассаживал генералов и адмиралов. – Трибуц, Трибуц! – Сталин приостановился, слегка отойдя от окна, потирая разболевшийся висок, – странная фамилия, не еврей ли? Надо Лаврентию поручить, чтобы покопал поглубже...

Конвой погубил, корабли погубил, **флот** собирался затопить... Стоп... Он внезапно остановился, вспомнив с каким упорством вился вокруг него Кузнецов, выпрашивая ЕГО подпись под этой телеграммой: «Заминировать и подготовить к взрыву все корабли КБФ, суда торгового, пассажирского, рыболовного флотов на случай захвата противником Ленинграда». Обычно такие покорные адмиралы, дрожащие под его взглядом, адмиралы, которых после вызовов к нему откачивали доктора, здесь вдруг встали как один и уперлись: без Вашей личной подписи такое распоряжение отдавать не будем!... И ему все-таки пришлось, пришлось поставить свою подпись... да, вспомнил – все-таки поставил!

Вождь вдруг усмехнулся: а адмирал Кузнецов голову беречь умеет и Трибуцу сберег...

Вождь подошел к столу и принялся перечитывать донесение, списки судов и кораблей потопленных немцами и не дошедших до Кронштадта. Бровь его слегка дернулась: все-таки большая часть военного флота дошла, и крейсер «Киров», хоть и большие потери (а «Киров» Трибуц сберег таки!). Обратная ситуация была с конвоями и их охранением – крохи уцелели... Ну, люди гибли, гибнут и будут гибнуть, это дело обычное, на то они и люди, а вот эти чудесные механизмы, в которых нет ни тени измены и предательства: эти двигатели, шестерёнки, маховики, турбины, винты, крупнокалиберные орудия, ... кто их сейчас заменит? А людей у нас еще много – больше чем в любой стране Европы и Америки. Россия потом нарожает, (аборты он предусмотрительно запретил) ... И Лаврентий поможет! – усмехнулся вождь, ему понравилась его шутка, подняла настроение: кто сейчас скажет, как Бехтерев, что он мизантроп и параноик, если даже в таких условиях умеет шутить? – «Спи Бехтерев, спи спокойно: похороны ми тебе сделали харещие». А люди – хворост, хворост горит – пастуху теплее и безопаснее в горах ночью, когда темнота со всех сторон с дивами, дэвами всякими... А когда костер притухает – лишь тревожнее.

Собственно черт с ним, с несимпатичным Трибуцем, расстрелять всегда успеется... Он – Вождь и умеет ставить государственные интересы выше собственных! Он – Вождь и должен мыслить государственно! Мало побед у Красной Армии с начала войны, почти не было... Но в его еще власти, кое-какие поражения, особенно неявные, не окончательные превратить в победы. Дошел же все-таки военный флот и «Киров» с золотым запасом Эстонии. А чем не героический переход КБФ из Таллина в Ленинград!? Звучит совсем неплохо... Надо, наконец, поднимать боевой дух армии и народа...

Сталин взял трубку:

– Паскребищева мне!

Вошел Поскребышев: лысый и извилистый, как среднеазиатский варан.

– ...Товарищ Сталин?...

Вождь встретил его, сидя за столом и оторвав свои мутные очи от донесения, глянул на слугу:

– Отмэть себе. Адмирала Трибуца представить к награде – ордену Красного Знамени!

5

Клятов шел немного впереди конвоиров и слышал, как шумят сосны, в последний раз в жизни. А может это и море: оно также шумит, оно близко – мелькнуло, махнуло меж стволов голубеньким платочком. Нет, Трибуц по прибытии в Кронштадт даже и не вспомнил о нем, не злопамятный был адмирал, но был в тот момент на мостике, где они повздорили, некто Третий, почти невидимый, и лица его почти никто не запомнил, некто Третий, в обязанности которого входило все слушать, запоминать и докладывать выше. Он, Третий, уважал свою работу и даром есть хлеб не хотел: и донос пошел своим ходом.

Собственно, смерть Клятову после того, что он видел, а в особенности после того, что *узнал*, теперь казалась ничтожной и пустяшной, хотя было и немного тревожно и холодило в груди.

Он шел легко. Хорошо было, что у него не было ни жены, ни детей, как у Дубровского, который выпрыгнул на палубу и пытался выброситься в море, узнав, что погибла «Вирония», хорошо, что он рано очутился в детдоме, где партия взяла его на воспитание в свои твердые руки. Лишь иногда в снах вставало женское лицо и он понимал, что это мать и просыпался в слезах. Ничего, скоро они встретятся, и она все расскажет. Он думал о том, что смерть – это избавление, это что-то хорошее, светлое, а вовсе не тьма, которой ее привыкли воображать.

Вверху вдруг что-то зацокало.

– Белка!!! – с восторгом крикнул Клятов конвоирам, полуобернувшись, и приостановился. Ему захотелось порадоваться с ними, передать свой восторг хоть кому-нибудь этим простым существом.

Маленькая белочка сидела над ними на сосновой ветви, задрал серый пушистый хвост дымком, и бойко грызла сосновую шишку, зажатую в передних лапках, держа на прицеле черного зоркого глазка нескладных двуногих существ внизу.

Солдаты немного смутились и приостановились, а бдительный особист тут же расстегнул кобуру, дабы предотвратить возможный назревающий побег.

– Иди, иди, – толкнул Клятова он в спину.

Вот и яма. Куча вывернутого из глубины сырого рыжего песка. Все выглядело как-то глупо и не по-настоящему, не могло быть это по-настоящему – и эти солдаты со звездами на пилотках и особист в фуражке, расстегивающий планшет с приговором. Как тогда, происшедшее на сцене русского театра в Таллине, куда Клятов однажды повел Вильму на «Гамлета». Он почему-то представил себе, что все эти шекспировские герои и героини, добрые и злодеи, живые и мертвые, отравленные и заколотые, смоят грим после спектакля, достанут припасенную бутылку водки, нехитрую закуску и засядут все вместе за веселый театральный капустник – и Гамлет, и Полоний, и Офелия, и Гертруда с узурпатором, и даже призрак отца Гамлета... А рядом сидела Вильма и глаза у нее были такие светлые и холодные, что становилось жарко от желанья во что бы то ни стало растопить эту холодность, хоть слезинку выдавить, и прощаясь он так сильно сжал ее, что она шлепнула его по руке и вырвалась: «Сумасшедший! Все русские сумасшедшие!»... – быстро поцеловала его в щеку и исчезла за дверью. Так ничего у него с Вильмой и не было. Потом закрутилась эвакуация, немцы подходили к самой Пирите и кто-то вдруг сказал, что Вильма то ли работала на немцев, то ли входила в кайселит. И несмотря на бешеный темп работы, он все же выкроил минут сорок и сбегал в город. На стук в знакомую дверь ему открыла пожилая эстонка с такими же светлыми как у Вильмы, но окруженными морщинами глазами. На вопрос о Вильме она только сказала:

– Вильмы больше нетт, – и замолчала. – Вильмы больше нетт, – повторила сурово она на все его попытки что-то прояснить и, вытянув руку ко входу сказала величественно и твердо: – Никогда, никогда не возвращайтесь в этот горотт...

Клятов стоял спиной к конвоирам и смотрел на бронзово-золотые шершавые стволы, за которыми голубело прохладное, как глаза Вильмы, море.

«...Именем рабочего класса и трудового крестьянства страны советов... за проявленную панику, трусость, малодушие, несовместимые с высоким званием офицера-краснофлотца, за клеветнические высказывания в адрес руководства краснознаменного балтийского флота, наносящие прямой вред флоту, стране и обороне, за изменнические настроения перед лицом злейшего противника в условиях военного времени... Клятов Григорий Петрович лишается всех званий и наград и приговаривается к высшей мере наказания через расстрел!

Приговор обжалованию не подлежит...»

Клятов слышал как в сосновом шуме лязгнули затворы винтовок. Как это все глупо казалось, не по-настоящему... Ему казалось, если им рассказать как все это глупо, они обязательно поймут, не смогут не понять, только вот незадача – времени мало, а они спешат, им бы поскорее покончить с неприятной необходимостью... Мужики-то хорошие – только спешат... Неужели они сами не могут понять? Какие они смешные в своей серьезности, как дети... насколько он сейчас мудрее их! Если бы у них было время, он объяснил... Они бы поняли, что это всего лишь выдуманная людьми игра, а никакая игра не стоит ни единой человеческой жизни. Он, наверное, все же смог бы им объяснить, только времени уже, конечно, не хватит. Если бы было одно какое-то слово, которое может все объяснить, оно, конечно, есть, он его знает, конечно, но вспомнить не может – там, куда он уйдет, он его сразу вспомнит...

Боже, какая глу...

2006

Стукач (рассказ)

Витька, Витька, где твоя улыбка?

Не видно развеселого толстого Витьки, не слышно его мальчишески задорного, странного для столь грузного тела голоса. Канул в море житейской суеты луноликий друг. А ведь было... Были длинные душевные беседы за бутылкой коньяка или банкой отличнейшего качества самогонной Витькиного подпольного производства водки, настоящей на апельсиновых корках. И нередко вечера не хватало, чтобы наговориться, и засиживались до двух ночи, когда глаза начинали сами собой слипаться, а язык вязнуть. Когда это было, где?... – Кажется не меньше ста лет назад, а прошли годы... кажется в другой стране... а ведь и вправду в другой!... Было это в стране чудес, только чудеса в ней были какого-то угрюмого, трагикомического свойства. Существовала в этой стране своя абсурдная античеловеческая режиссура, с утратой которой, однако, все стало погружаться в не менее античеловечный первобытный хаос.

Семнадцать лет назад сидели мы вместе: я, Витька, его первая жена Мышка (так я звал ее про себя, потому что она и в самом деле была маленькая, с темными бусинками глаз, а на фоне огромного круглого Витьки казалась вообще крошечной), готовились к госэкзаменам, без пяти минут врачи, – зубрили «Научный коммунизм». Помню даже вопрос из билетов, на котором мы остановились: «Критика теории конвергенции». Таких вопросов по критике различных «буржуазных» теорий было много. Самих теорий мы прочесть не могли, поскольку они относились к запрещенной литературе, за хранение которой можно было и срок схлопотать, разве две-три маловразумительные фразы из учебника. Уникальность была в том, что требовалось исхитриться и критиковать то, что ты сам не знаешь. Более или менее внятно о них рассказывали лишь иногда некоторые преподаватели из числа наиболее одиозных (кстати, было явно заметно, что изложение этих теорий им явно доставляло гораздо большее удовольствие, чем их критика). Но и это было все в пересказе, переложении, а как хотелось вкусить запретный плод самому!... А тут нам случайно попался полузапрещенный журнал «Америка» со статьей, в которой как раз и излагались основы этой теории (по ней выходило, что со временем социализм приобретает черты капитализма, а социализм неизбежно будет вынужден отступить от своих жестких принципов, что может привести к их слиянию). И настолько ясной и понятной была статья, настолько мутным, суконным и бранным был язык соответствующего раздела учебника, что становилось до боли очевидным как нас нагло обманывают, и Витька то и дело вскакивал, бешено матерился и запускал учебник в стену. Учебник падал за диван, Мышка доставала его оттуда и мы продолжали зубрить.

Сквозь злобную ахинею «учебного» пособия с упорством паранойяльного бреда доносились обещание «светлого коммунистического будущего», в которое мы уже давно не верили, но вот этого на экзаменах ни в коем случае показывать было нельзя, иначе не видать тебе врачебного диплома вовеки. Верили зато мы, что социализм, в котом жили – это очень надолго (если только ядерная война не бабахнет и не уничтожит вообще всю землю), уж никак не меньше чем на два-три поколения после нас; настолько мощной и несокрушимой казалась эта система, что всерьез предположить случившееся с нашей страной мог тогда лишь клинический идиот.

– Но ведь задумка то хорошая! – всплеснув тоненькими ручками, время от времени повторяла Мышка.

– Задумка-то хорошая, да во что ее превратили! – в голос ей восклицал Витька.

Я вяло соглашался, хотя уже сильно сомневался и в самой «задумке»: однажды меня поразила мысль, что за правдивое слово у нас могут карать более жестоко, чем за убийство человека и с тех пор я ее неотступно внутренне созерцал. Это сделанное еще до выпускных экзаменов простое открытие заслонило все умствования, все доводы и контрдоводы. Меня, правда, как видно, не убили, не посадили и даже не выгнали из института. Следуя советам отца, не понаслышке знавшем об опасности разговоров о политике, о «черных воронках» и лагерях, я старался таких разговоров избегать, (хотя становилось это почему-то все труднее и труднее) и даже с Витькой и Мышкой предпочитал не раскрываться до конца.

И все-таки, несмотря на меры предосторожности, был момент, когда показалось: дохнуло холодком с Колымы, я приблизился к краю, правда, не заглянув за него, но в памяти осталась издевательская усмешка судьбы, чувство абсурдности режиссуры.

И будто из серого тумана прошлого, выплывает фигура студента Дурова. Вот он идет своей мягкой крадущейся поступью, рослый, атлетически сложенный, в рубашке хаки с нагрудными карманами, слегка наклоня вперед туловище и свесив тяжелые длинные руки. Не настожила меня тогда ни эта походочка гориллы, ни близко посаженные темные глаза, всегда каким-то образом глядящие исподлобья, даже на тех, кто ростом ниже, ни странно маленький подбородок, особенно в сравнении с лошадиным выступом носа... Все это отметились гораздо позже, а поначалу я увидел здорового простого парня с добродушным малорусским юмором (он был из Харькова). Впрочем, мой новый друг вовсе не давал мне повода плохо о нем думать, а прогуливать на пару скучные лекции было веселей. И общаться с ним было необыкновенно легко. Казалось, вот она простота и сила народная, о которой как несомненных признаках хорошего человека, нам уши прожужжала учительница литературы в школе. Суждения его были и в самом деле просты, никакой интеллигентской зауми, а в некотором их прямолинейном цинизме виделся лишь признак мужественности. Улыбка (со временем все более превращавшаяся в ухмылку) обнажала крепкие полировано гладкие желтые зубы. Единственное, что мне в нем сразу не понравилось, – длинные волосы в сочетании с безбородым и безусым лицом придававшие облику нечто бабье (впрочем, женщинам он нравился).

Теперь подозреваю, почему мне было легко: его склонность все упрощать каким-то образом упрощала и мне жизнь, отводила многие сомнения в себе и окружающем.

И тут возникает толстый учебник органической химии, который я потерял, забыл в аудитории. Студенты, терявшие учебники, обычно вывешивали в раздевалке объявления с просьбой вернуть их, указывая свои имя, фамилию и курс. Также решил сделать и я. Но тут мне вдруг захотелось отличиться, сочинить такое объявление, чтобы мимо него не смог пройти ни один студент, чтобы и книгу вернули и весь институт хохотал.

Мы сидели с Дуровым на какой-то лекции, на галерке: я изобретал объявление, а Дуров точными штрихами, не спеша, изображал сцену изнасилования. Не в пример другим, неумело нацарапанным на столах кабинетов и на стенах туалетов произведениям мучающихся эротическими галлюцинациями студентов, получалась картинка еще более мерзкая именно вследствие своего довольно талантливое исполнение, однако, я уже научился тогда автоматически подавлять в себе возникающее отвращение, отбрасывать от себя неприятное, не входящее в образ человека мною уже созданный, как нечто случайное, для него не характерное.

Итак, я сочинял объявление. Для начала на всем листе бумаги с помощью красного шарика расположил след окровавленной пятерни и потом крупными буквами написал обычный текст с просьбой вернуть учебник и своими данными. Некоторое время я с удовольствием созерцал законченную работу и тут Дуров вдруг сказал: «А снизу подпиши: за это обещаю отменить крепостное право!». Идея мне показалась смешной и, недолго думая, я подмахнул фразу ниже текста. Уже когда крепил объявление на стене раздевалки, кольнуло нехорошее предчувствие. Смутно понимал, что шутка более глупая, чем смешная и, к облегчению, на следующий день объявление из раздевалки исчезло.

Постепенно вокруг нас с Дуровым в группе стал ощущаться некий вакуум: кроме меня у Дурова друзей не образовалось, а вот я с ребятами был в хороших отношениях, и тут вдруг почувствовал какое-то непонятное ко мне охлаждение. Наконец одна из девчонок, Наталья Шарапова, мне как-то сказала напрямую: «А ты разве не знаешь, что Дуров *стукач*?» – Я только рассмеялся в ответ, настолько невероятным это показалось – мой друг и стукач!... Однако сказанное запало: оказалось уже шло подсознательное накопление каких-то фактов, фактиков, оговорок... И тут я решил пойти напрямую, взять Дурова, как говорят, на пушку, хотя на 90 процентов верил, что ошибусь, надеялся...

Шла первая половина лекции по физиологии. Как обычно мы с Дуровым сидели на задних рядах, поближе к выходу. Без лишних слов я заявил в лоб, что мне мол достоверно известно чем он занимается. Все-таки жизнь любопытна именно своей непредсказуемостью. Я ожидал любой реакции: удивление, смех, гневное отрицание и даже откровенное признание, подкрепленное теорией собственной исключительности... Все случилось по другому. Дуров медленно вытащил кармана кожаный бумажник, раскрыл его, вытащил зеленую трешку и, протягивая, тихо и внятно молвил: «*За сведения!*»

До сих пор помню эту сцену – лопатообразную лапу с зеленой трешкой (три обеда в институтской столовой), в которую Дуров оценил мою дружбу. Все происходящее вдруг показалось в этот миг дурацким сном и от четкого осознания, что тем не менее это реальность, во рту пересохло. Я даже ничего не ответил, лишь, кажется, не мог сдержаться от презрительной улыбочки. Зеленая бумажка, поколебавшись в пространстве, исчезла там, откуда появилась.

– А у меня на тебя есть данные... – уже с явной угрозой сказал Дуров, вновь касаясь бумажника, и я увидел, что из кожаного кармашка выступает белый край сложенного листа клетчатой бумаги и тут сразу же все связалось: совет Дурова приписать фразу в объявлении, его быстрое исчезновение из раздевалки и, самое главное – содержание: «...Обещаю отменить крепостное право...»!

Какой же я дурак, ведь при желании этим словам можно придать политическую окраску: здесь же явный намек на одно из главных «достижений» социализма – колхозный строй! И поди объясни *там*, что ты этого вовсе не имел в виду, что ты вообще ничего не имел в виду! А ведь и вправду не считалось бы это такой уж крамолой, если бы не было столько сходства и правды! От отца я слышал, что за подобные шутки, за политические анекдоты, случайные оговорки при Сталине людей отправляли в лагеря и на расстрел... «И сейчас ничего не изменилось...» – не уставал повторять он, видимо желая как можно надежнее застраховать меня от подобных случайностей. И вот, ирония судьбы: это случилось, будто подтверждая правильность мнения, что случается именно то, чего больше всего боишься. Конечно, это была та самая бумажка! У меня даже дух перехватило. Смотреть на Дурова я больше не мог и, ни слова не говоря, достал тетрадь и стал записывать лекцию, сначала не вполне понимая, о чем говорит лектор, но постепенно постигая смысл, почувствовал странное облегчение.

И хотя я чувствовал, что сейчас все-таки иные времена, и за подобное в тюрьму не отправят, но казалось вполне вероятным быть вытолкнутым из института с пожизненным волчьим билетом, и это было бы не менее страшной катастрофой, чем тюрьма, о том, как это подействует на родителей думать было вообще выше моих сил. Я видел уже папку с заведенным на меня делом в небезызвестной комнате номер восемь – институтском «спецотделе».

О комнате номер восемь предпочитали не распространяться. И сама она располагалась как-то незаметно и, в то же время, в самом центре здания: на втором этаже под аудиторией. Точнее, там было несколько комнат за одной дверью: военно-учетный стол и еще что-то непонятное; курировал весь этот отдел высокий лысоватый генерал КГБ в отставке, голоса которого я ни разу не слышал, хотя время от времени его задумчивый лик встречался на институтской лестнице. Когда его безразличные, ничего не выражающие глаза проходили по мне, у меня

появлялось ощущение, что он знает меня и по каким-то вторичным признакам выделяет как неблагонадежного, инакомыслящего. Однажды я случайно увидел, как из этой комнаты выбежал один из наших главных комсомольских боссов, молодой «перспективный» ученый, преподаватель. Пожалуй, я еще не видел столь откровенного ужаса на человеческом лице: оно было мокрым от пота, будто голову окунали в воду. Поразительно было видеть такое выражение у всегда благополучного на людях, уверенного в себе человека. Не видя в первый миг вокруг себя никого и ничего, комсомольский работник, стоя на лестничной клетке, судорожно утирал пот со лба и автоматически, как заводной, загребал и загребал рукой назад свою курчавую шевелюру.

Будто кто-то рассудочный вкрадчиво нашептывал мне, что с Дуровым надо быть осторожнее, возможно даже не рвать резко (мало ли что может наговорить на меня, озлившись), а отходить постепенно, сделав вид, что ничего не произошло. Но я не мог преодолеть эмоций, разом вытолкнув его из себя, как рвотную массу. Сразу же после перерыва, на второй половине лекции я пересел от Дурова на передние ряды и принялся вновь, как когда-то, внимательно записывать лекцию. С того момента общение наше оборвалось резко и навсегда: встречаясь на занятиях, мы лишь здоровались друг с другом, но больше – ни слова.

К тому же виделись мы все реже и реже: Дуров безбожно прогуливал занятия и лекции. Я же на лекциях теперь сидел не позади, где все же изредка появлялся Дуров, а в первых рядах, где он не показывался никогда, и старался ловить каждое слово преподавателя.

Это не осталось незамеченным и буквально через несколько дней на лестничной клетке меня окружили ребята и девчонки из нашей группы и принялись поздравлять, пожимать руку. А один из ребят, боксер Вова Веревкин сказал: «Ты, Палыч, совершил мужественный поступок!». Мне было приятно вернуть себе нормальное расположение группы, хотя ничего необыкновенного в своем поступке я не видел. Правда, было немного обидно, что я, как оказалось, узнал кто такой Дуров последним.

– А вы как догадались? – спрашивал я.

– Вычислили! – радостно со смехом кричал толстый Витька. – Вычислили! В каждой группе есть стукач!

Впрочем Дуров больше меня не трогал, не пытался шантажировать. Злобности в нем не было, для нее он был слишком ленив, и лень эту легко можно было спутать с добродушием.

Вообще ему нравилось изображать из себя какого-то разведчика, агента 007. Держался он по отношению к другим высокомерно, напускал на себя таинственный вид, стал ходить на занятия в темных очках... Группа платила откровенным презрением и насмешками.

– А-а, вот и Ду-у-уров! – с преувеличенным почтением, переходящим в многозначительную издевку тянул всякий раз, церемонно здороваясь с ним за руку, Витька. Витька не боялся издеваться над стукачом – его отец был крупной шишкой в системе госбезопасности.

А однажды наши девчонки перед занятием бесстрашно Дурова атаковали, разом надели, тюкать принялись наперебой:

– Да уж мы знаем, что ты представляешь из себя, знаем-знаем!... А Наталья Шарапова прямо заявила:

– Да кто ты такой?! Ты вообще НИКТО!

Тут Дуров озлился, бабье лицо его скривилось, приобрело щучье выражение, и сказал с угрозой в голосе:

– У вас могут быть неприятности, я вам не советую продолжать! – и поджал губы...

Девчонки сразу замолкли, лишь Наталья Шарапова презрительно усмехнулась.

С тех пор Дурова в группе вообще как бы перестали замечать. Лишь Витька по-прежнему всякий раз церемонно-издевательски с ним здоровался: «А вот и Ду-у-уров!»... – На «здрасьте» и «привет» его общение с однокашниками теперь начиналось и заканчивалось. Вроде и был человек в группе, и одновременно не было его.

Учился он едва ли не хуже всех, все чаще прогуливал лекции и занятия, и к концу учебного года вышел на отчисление из института. Спас его родной дядя, профессор, который, как оказалось, работал в институтской администрации: Дуров ушел в академический отпуск. Наша группа от него, слава Богу, избавилась. Видели его пару раз случайно, года через полтора-два, потом он исчез совершенно, вполне может статься, так и не осилив институтского курса. Думаю, что сексотом его сделали не злость и уж во всяком случае, не политические убеждения, а именно лень в сочетании с какой-то врожденной аномалией. А его теория собственной исключительности, его «Мне все позволено!» была крайней точкой конформизма, готовности принять любую форму, лишь бы не совершать усилий – умственных, физических, душевных... Лень эту усугубляло полное отсутствие интересов, увлечений, за исключением интересов к шикарной жизни (знание которой было главным образом почерпнуто из иностранных фильмов) к девочкам и шмоткам – интересов павиана и павлина. А тут можно было не напрягаясь получать ежемесячное пособие, превышающее, как говорили, размер стипендии, которую прочие зарабатывали лишь упорными занятиями, не имея троек на экзаменах. Но видно Дуров был настолько ленив, что ему не помогла ни охранный грамота стукачества, ни дядюшка профессор.

О врожденной аномалии я упомянул не случайно. Встречаются в жизни иногда, даже в совершенно различных национальностях, необыкновенно похожие друг на друга люди, своеобразные архетипы человеческие, сходные внешне, физически, даже своими повадками – манерой двигаться, говорить... В жизни я потом дважды встречал людей внешне необыкновенно похожих на Дурова – в обоих случаях это были люди непорядочные, темные. Первый близнец стукача делал успешную карьеру на московском радио, выливая за рубеж потоки лжи о счастливой жизни в Советском Союзе. Сходство его с Дуровым было потрясающим, до деталей: та же мягкая поступь, крупное тулово, близко посаженные карие глаза, лошадиный нос и маленький подбородок, даже стрижка горшочком с волосами прикрывающими невысокий лоб, отчего он казался еще более узким. Поначалу я подумал было, что это и есть Дуров, сменивший фамилию, переквалифицировавшийся, сделавший другую немедицинскую карьеру. Второй был тоже очень на него похож лицом, но телом помельче и пожестче. В компании, где я его встретил, он с увлечением рассказывал о том, как действуют разрывные пули в человеческом организме (позже он сел в тюрьму за злостное хулиганство).

Впрочем, мне бы не хотелось думать, что человеческие свойства полностью определяются внешностью, – жизнь сложнее! – и думаю, наверняка где-то существует вполне человеческий порядочный вариант Дурова.

А экзамен по «научному коммунизму», лжепредмету, порождением которого был Дуров, мы с Витькой и Мышкой сдали на хорошо и отлично. И каждые полгода в институте мы сдавали экзамены по политическим предметам успешно. И самый главный экзамен по научному коммунизму по окончании института сдали. Проклинали, что приходится врать, но сдали, и думали: «Ну это уж в последний раз!»... Однако мы опять-таки ошибались.

1995 г.

ВИТЬКИН КОММУНИЗМ

Каждый человек хочет быть счастливым. Каждый ищет счастья по-своему. Да только не дается оно людям в руки, как жар-птица, разве у иного смельчака перышко в руке останется: посветит-посветит, да и погаснет.

Вот решили люди однажды: не дается счастье каждому поодиночке, значит, соберемся вместе и построим рай на земле, а конкретнее – коммунизм. Только и из этого, как уже доподлинно известно, ничего путного не вышло.

Отец Витьки Воробьева боролся за всемирное счастье в других странах, поскольку был советским разведчиком. Своими глазами он видел, что люди на Западе, хоть и не строят никакого светлого царства-королевства, живут гораздо лучше, чем в самой богатой от природы России. Карл Маркс предвещал построение коммунизма во всём мире. Ленин и Сталин провозгласили возможность построения коммунизма в отдельно взятой стране, а витькин отец, творчески развивая их учение, пришёл к идее возможности построения коммунизма для отдельно взятой семьи и даже для отдельно взятой личности и открытие своё по большому секрету сообщил сыну.

Вот об этом-то и поведал мне Витька, когда мы стояли на крохотном балкончике малогабаритной квартиры, где он жил со своей второй женой Алюней и аквариумными рыбками.

Было это в это в эпоху «развитого социализма». С высоты птичьего полета (седьмой этаж), были видны плоскости крыш ближайших послевоенной постройки домов, люди внизу казались муравьями, а легковые машины во дворе жуками. Здесь, на балконе, куда мы обычно уходили, оставив женщин, на кухне со своими дамскими разговорами, он поверял мне самое сокровенное. Балкончик был крохотный и лишь тонкие надежные перила отделяли нас от пропасти, высота не страшила, а лишь приобщала к огромному небу и возникало какое-то легкое, птичье настроение, здесь обычно хотелось обсуждать нечто глобальное – политику, философию... и часто казалось почти реальным все то, что всего лишь в нескольких шагах, на отчужденной от пространства кухне выглядело бы сущим вздором, над чем мы могли бы там посмеяться и сами.

Сдружились мы с ним еще в мединституте. Это был самый толстый студент на курсе. Зрелым доктором он стал таким солидным, что проходил в дверь своей московской квартирки боком.

В тот теплый вечер он сидел на балкончике в майке, курил, как всегда дешевую и жесткую «приму» без фильтра, волосатый и огромный, как гризли (впрочем, его мощь не выглядела агрессивной – в ней преобладала округлость). И странным в нем на фоне этой мощи казались изящный, почти женский рот-бантик, задорный мальчишеский голос и живые темные глаза. Его быстрый ум, легкий нрав, горячий темперамент словно были подготовлены для человека д'артаньяновски худошавого склада, но по какой-то странной прихоти судьбы попали в столь массивную оболочку, которую он, однако же, научился носить с большим достоинством, а ротик бантик его уже был старательно запрятан в окладистую громадную бороду «а ля мужик».

– Надо каждому строить свой коммунизм, – повторил Витька, выщелкнув окурочек в красный от закатного солнца воздух, – так мой отец говорил. – И я своей Алюне коммунизм устрою!

Отца своего уважал, невзирая на то, что они ссорились и годами не разговаривали. В самое трудное время студенчества, когда у Витьки появилась первая семья и родилась дочь, отец, не одобрявший женитьбу, не помог ему и копейкой. Гордый Витька вместо того, чтобы повинно просить пошел работать на скорую помощь фельдшером. Часто на занятиях после ночного дежурства под равномерный голос преподавателя его грузное тело внезапно обмя-

кало, глаза закрывались и преподаватель вопрошал: «Воробьев! Что это с вами?». Встрепенувшись, Витька открывал глаза как раз в тот момент, когда начинал, грозно покачнувшись, заваливаться, удерживал равновесие, ухмылялся, а студенты, большинство из которых были свободны от забот и жили под крылышками родителей, поспешно, с долей уважения поясняли, что он после дежурства, и взгляд преподавателя обычно теплел.

После института Витька работал день и ночь, однако еле сводил концы с концами. Потом разразилась катастрофа – развод с первой женой, бывшей сокурсницей, который он сильно переживал. Но не прошло и года, как Витька женился снова на маленькой армяночке с твердокаменным характером, хирурге, в прошлом чемпионке Европы по стрельбе из пистолета.

Витька всегда мечтал о том времени, когда семья его будет жить по человечески, не нуждаясь в самом необходимом, но шли годы, а оно так и не наступало, сколько бы он не пахал днями и ночами на скорой и в реанимации.

– Представляешь, Палыч! – жаловался мне Витька, – югославские женские сапоги стоят 70 рублей – больше половины врачебной зарплаты! А есть на что? С другой стороны, не ходить же моей Алюне в валенках по Москве! Вот я и работаю на полторы ставки и она работает и всё равно еле-еле... Нет, надо что-то делать!

– Понимаешь, Палыч, – излагал мне Витька свою теорию на высотном балкончике, – государство повернулось к нам жопой. В какой это стране видано, чтобы водитель автобуса зарабатывал в пять раз больше врача? И вообще, посмотри вокруг: оно повернулось жопой ко всему народу – честно работать невозможно, машину может купить только вор... Призывают работать все больше и лучше, а как ни работай – один оклад в зубы... Государство нас грабит и обманывает, значит и мы должны отвечать тем же: неси все что плохо лежит, есть возможность – неси! Вот я вчера два куса мыла с работы притащил, а сегодня – полотенце... у меня дома все кружки с клеймом «минздрав», – в голосе его звучала гордость. – Идешь, например, мимо стройки, видишь – лежит кусок хорошего провода – бери, пригодится! Все вокруг народное – все вокруг мое! – он задорно прищелкнул пальцами и хлопнул ладонями. – ...Деньги, я тебе скажу, лежат прямо под ногами, стоит только нагнуться, стоит только немного пораскинуть мозгами. У меня уже есть несколько задумок, – загадочно понизил он голос.

– Снова самогон гнать? – предположил я. – так ведь когда-нибудь нарвешься – соседи наступят...

– Есть другие методы, – сказал он и многозначительно, замолчал, ожидая, что я буду его расспрашивать. Я молчал и, как и следовало ожидать, через несколько мгновения он не выдержал.

– Вот самый простой... но, конечно, между нами. Берешь обыкновенный пятак и выпиливаешь из него крестик, а в церкви крестики – по три рубля... технически проще простого. Говорю я с тобой, например, а тем временем зажал пятак в верстак и вжик-вжик, напильничком... Дел минут на десять... А если пять таких крестиков в день – это же пятнадцать рублей... умножь на тридцать – будет четыреста пятьдесят – три докторских зарплаты! Ну, идем, я кое-что покажу...

Мы прошли с балкона в комнату. Здесь блестящие золотом маковки Елоховского собора заглядывали прямо в окно. Из-за того, что Витьке казалось хлопотным выбираться на природу, он предпочел эту природу привнести в дом. На письменном столе поблескивал огромный пузатый аквариум. В зеленоватом сумраке аквариума фосфорическими искрами сверкали легкие неоны, неспешно двигались полупрозрачные самки гуппи с жемчужно-серебристыми животиками, вились по стенкам вокруг них маленькие самцы с ярко пестрыми шлейфами хвостов, блуждали меж водорослей красные и черные меченосцы, парили лупоглазые крошечные золотые рыбки, шевеля розовой вуалью плавников...

Он открыл ящик письменного стола, запустил в него свою волосатую лапу и что-то протянул мне.

– Вот, первый экземпляр продукции...

Это был желтый отполированный крестик, в котором кроме цвета ничего не напоминало о первоначальном корыстном назначении металла.

– Ну как?...

– Вполне приличное качество, – пожал я плечами.

– Теща в Елоховский собор ходит, будет распространять...

**

Бывает нередко в жизни: идея вроде бы неплохая, а дело не идет, так и с Витькиным начинанием случилось. А может быть, ему кто-то вовремя шепнул, что порча монет уголовно наказуемое деяние.

Однако взгляда от церкви он не отвратил, благо Храм Божий находился рядом. Свела Витьку его теща со старостой храма, мужиком таким же толстым и бородатым как Витька и, по его словам, быстроглазым (Алюня удивлялась их поразительному сходству). А надо сказать, Витька закончил школу с радиотехническим уклоном. И предложили ему отремонтировать радиоточку в храме. И взялся он ее обслуживать. И три месяца ходил исправно сын советского разведчика, тайно занимаясь делом несовместимым с «высоким званием советского врача»: посмотрит быстренько больных, запишет истории болезни и часов в двенадцать уже халат снимает, в шкафчик вешает, а мне шепчет (мы в то время вместе работали): «В храм Божий, в храм Божий пора!»... На столе у него дома появился катехизис, его увлекли христианские догматы.

Уверовал он с необычайной быстротой и готовностью. «Воцерковляться, воцерковляться, Палыч, надо!»... Рассказывал о том необычном впечатлении, которое производила на него таинственная тишина и сумрак сводов храма, когда не было посетителей и, поднявшись на стремянке под своды, ближе к святым, он чинил проводку. А однажды многозначительно сообщил: «Владыке уже обещали представить!» Встрече этой придавал он важное значение: надеялся, возьмут в церковь на постоянную работу, хотя вслух об этом не высказывался. Наконец встреча состоялась: «Глянул на меня Владыко, как насквозь, ничего не сказал и пошел!» – рассказывал Витька.

– Ну а дальше что? – спрашиваю.

– А дальше не знаю, посмотрим, – многозначительно сказал Витька, – такой человек видно Владыко, с одного взгляда рассекает, ему и разговаривать не обязательно...

...Немного времени спустя, придя на работу, я обнаружил Витьку в разгневанных чувствах.

– Обманули меня святые отцы, представляешь, обманули! – говорил он, гневно сверкая глазами.

– В чем дело?

– Представляешь, прихожу я вчера в радиорубку, а там какой-то мужик возится. Вы кто? – говорю, – А я, говорит, инженер, здесь работаю, был четыре месяца в командировке в Ленинграде... Я ни слова не сказал – развернулся и ушел!...

Очень обиделся мой друг, что святые отцы не оценили его бескорыстия. А может быть, и напрасно, может быть, это было последним испытанием?...

**

Но не таков Витька, чтобы долго унывать и находиться в бездействии. Возмущали его воображение все новые идеи. Отсюда начинается новая история, история с протарголом, обыкновенными детскими капельками от насморка. Кажется – ну что в них особенного? – но и тут проявился необыкновенный полет витькиной мысли.

– Слушай, Палыч, – спрашивает он меня однажды, – а не можешь ли ты достать протаргол? – и по таинственному, пониженному тону я понимаю – мой друг уже замыслил нечто чрезвычайно важное, но пока не пойму что.

– А чего его доставать – в любой аптеке есть...

– Мне много надо... – еще более понизив голос говорит Витька.

– Сколько флаконов?

Витька некоторое время молчит, как бы раздумывая, стоит ли меня посвящать в тайну.

– Ведро, – наконец говорит он.

– Да зачем тебе столько?! – не выдерживаю.

Витька смотрит на меня как бы издали, с сожалением и объясняет как Миклухо-Маклай папуасу.

– Это же окись серебра, Палыч, несколько простых химических реакций и можно получить чистое серебро! Только надо достать много протаргола, очень много! Где-то в нашем бестолковом государстве наверняка его можно достать много и бесплатно, спереть с завода, например... попросить рабочих – за бутылку вынесут...

– Ну а что ты с этим серебром будешь делать?

– Можно из него шестиконечные звезды Давида отливать и продавать евреям, знаешь, сколько за такое отвалят?...

Я не знал сколько и так ли уж необходимы евреям серебряные звёзды, но это ничего не меняло. Сказано – сделано: Витька начал налаживать у себя на кухне небольшое литейное производство.

– Нужно количество материала наберем потом, главное пока освоить технологию, – объяснял он мне, хитро подмигивая, показывая пару кирпичей и половник, – Теща ругается, правда – со смехом говорил он, будто сам дивясь собственной сумасшедшинке, – приходится после производственного цикла на балкон выносить.

В то время я ему на день рождения даже книжку подарил по литейному производству со схемами доменных печей, пожелав в скором будущем освоить домашнее самолетостроение.

Он даже свой аквариум на время оставил, перестал отлавливать мальков, отделять несовместимые породы, представив все естественному отбору. В результате, рыбок в аквариуме становилось все меньше, а три золотые рыбки все росли и росли... «Представляешь, жрут всех!» – восторгался он их акульими задатками. Первыми исчезли неоны, потом меченосцы и гуппи и в огромном аквариуме шныряли только значительно подросшие золотые рыбки, одна из которых по размерам явно обгоняла двух других.

Недели через две, когда я снова попал к нему в гости, Витька с гордостью демонстрировал мне комочек серого невзрачного вещества, похожего на табачный пепел, на дне столовой ложки. «Это первый этап! Еще две реакции с этой штукой и у меня будет чистое серебро!»

Однако на его пути непреодолимой преградой встал женский консерватизм. После двух прожженных половников жена и теща наотрез отказались верить, что счастье на пороге и наложили вето на кухонные эксперименты.

И вот тогда Витька решился на крайнюю меру: бросить медицину и стать автослесарем. «Сколько же можно так жить? Ты знаешь, что женские сапоги половину моей зарплаты стоят? Я должен сделать своей Алюне коммунизм!» Друг детства (тоже сын кэгебэшника, приятеля его отца) уже давно работал таксистом, при встречах потешался его мизерной врачебной зарплате, звал к себе в таксопарк.

Решение принималось нелегко, хотя Витька сообщил о нем как обычно, с шуточками, прибаутками, будто обсуждал постороннего чудака.

Мы сидели в комнате, и я смотрел на аквариум, где плавала лишь одна золотая рыбка, разросшаяся до размеров наводящих на мысль о своевременности ее путешествия на сковородку – венец аквариумного дарвинизма.

– Представляешь, – подхватив мой взгляд, восторженно сообщил Витька, – она кусается! Опустит-ка палец...

Я опустил указательный палец в воду. Пучеглазая рыбка, мотнув розовым шлейфом хвоста, метнулась вперед, и я почувствовал, как кожу легко ущипнули острые краешки рыбьего рта.

– А знаешь, как страшно! – вдруг сказал Витька, проникновенно глядя мне в глаза.

– Зря ты это делаешь, не стоит, – ответил я и тут он взорвался в первый и последний раз за время нашего общения, завопил, будто сам себя испугался.

– Да иди ты... Сам разберись, сам!

– Ну, как знаешь, – сказал я.

Я с трудом представлял себе самолюбивого Витьку в роли ученика автослесаря (ступень, которую он должен был непременно пройти перед тем, как стать автослесарем). Я с трудом представлял себе, каким образом с его необъятными габаритами он будет залезать в смотровую яму под автомобиль, просто наклоняться, зато мог представить какой беспощадный хохот будет все это вызывать у мужиков таксопарка.

Недели через две после того как он устроился на новую работу, нам позвонила его жена и со смехом (ее саму забавляли эти шараханья) сообщила, что Витка заработал свою первую левую трешку. Потом трубку взял Витька. Судя по голосу, в котором звенели плохо скрываемые ликующие нотки, он считал это началом золотого дождя.

Однако после этого звонка Витька вдруг как-то затих, перестал мне звонить, да и я долгое время не звонил ему, перешел на новую работу, кажется куда-то ездил...

Однажды матушка моя сказала.

– Слушай, наверное я сегодня твоего Витьку в метро видела. Едет на эскалаторе такой огромный, грязный, бородатый и все на него оглядываются.

– А где это было? – поинтересовался я.

– Метро Проспект Мира.

Ну конечно это был Витька: в этом районе находился его таксопарк и он, видимо, возвращался со смены.

Прошло около трех месяцев и я ему позвонил.

– Ну, ты уж там, наверное, процветаешь?

– Уволился, – после некоторого молчания сказал Витька. – Меня в больницу обратно берут...

– Что так?

– Знаешь, Палыч, я понял – каждый должен быть на своем месте.

Даже на Витьку, любившего щегольнуть показным цинизмом и затейливым матом, общество, которое он нашел в таксопарке произвело неизгладимое впечатление. О тамошних нравах, по умолчанию уголовных, вспоминал с горькой усмешкой. Рассказывал, как похвалялась шоферня друг перед другом под одобрительный гогот своими «подвигами» – кто как ловко обманул приезжего, накатывая лишние километры, обокрал пьяного клиента, «снял» проститутку – и чем гаже и отвратительнее были поступки, тем более почетными считались. «Особенно молодые любят это дело, старые волки молчат. Но чувствуется на их совести такое!...»

И все-таки одного друга Витька там нашел. Я видел его – это был немногословный парень с серым, отмеченными преждевременными морщинами, внимательным лицом.

– Вовка – единственный человек там, не такой как все. Вовка – человек! Ты знаешь, он один, который чем-то интересуется, задает вопросы... Многого не знает. А в той среде у него ему просто не у кого спросить... Я домой его пригласил, чтобы совсем другие отношения увидел, что люди могут еще как-то по-другому жить, нормально разговаривать... Правда скромный ужасно, интеллигенции еще стесняется...

Володя – простой честный рабочий человек – единственное ценное наследство, оставшееся у Витьки от таксопарка, где лучшее надо хранить как можно глубже в себе.

Это была последняя известная мне попытка Витьки построить себе коммунизм, самая решительная. Не получилось у мужика, хоть и идей было премного. Я-то знаю почему: все-таки слишком честный оказался – всю жизнь мечтал продать душу, да так и не сумел.

А в общем, мы с ним давно не виделись.

Первый писатель

– Поедешь в кэпээ, – сказал дежурный фельдшер, протягивая доктору Аветисову бланк вызова, – ни разу еще не бывал?

– Нет... – Аветисову и в самом деле еще не приходилось посещать камеру предварительного заключения.

– Говорят мошенник какой-то, за писателя себя выдает, скорее всего, симуляция...

– Угу, – невнимательно согласился молодой доктор, читая бланк, где не была указана фамилия, а в графе причина вызова стояло «боли в животе».

Через несколько минут УАЗ уже нес его по улицам Новотрубинска. Неказистый этот город незаметно проглатывал его молодую жизнь день за днем. «И стоило ради этого оканчивать институт в Москве? Столько обогащать и тренировать ум, мечтать?» – не раз он думал с удивлением, взирая на свою вдруг как-то неожиданно опустевшую молодость как бы со стороны. Трудно было, кажется, придумать более скучное место на земле: здесь не было ни моря, ни старинной крепости, ни гор, ни, хотя бы, великой реки – пятиэтажки, заводы, да деревянные одноэтажные окраины... Ни одна гордая старинная башня не смущала унылую горизонтальность крыш, была колокольня собора да и ту стыдливо заставили еще при Сталине громадным желтым шкафообразным домом. И хотя он прожил в этом городе почти всю жизнь, ни разу не приходилось ему встречать здесь ни одного художника, ни одного писателя. Казалось, люди этих профессий обитают совсем в другом мире, который никогда не пересекается с тем, слишком обыденным, в котором существует он. Из этого мира приходили книги, которые он читал запоем. Он испытывал священный трепет, открывая страницы самой пустой и неинтересной книги, ему казалось невероятным, что она написана человеком, и более реальным было бы для него не объяснение технологии типографского процесса, но то, что книги рождаются сами собой в некоем идеальном платоновском измерении мира идей и выпадают оттуда время от времени сами собой, как дождь из туч. Даже когда учился в Москве, кого только не видел – и негров, и миниатюрных как школьники вьетнамцев, а вот живого писателя встретить как-то не привелось! В мире, в котором он жил, книг не писали, здесь ходили на работу на оборонный завод, стояли в очередях за продуктами, ели, спали, пили водку, в нем, кажется, и писать-то было не о чем: день походил на день как две капли воды, год на год... А тут надо же – писатель! А может и не врет?...

Машина проехала новый горком, прозванный в народе «Белым домом», за светлый бетон, из которого был выстроен. Глаза Аветисова невольно скользнули по ряду портретов членов цэка (пятнадцать, по числу республик), благообразно гладеньких, подрумяненных, весьма отдаленно похожих на тех морщинистых стариков, которых ежедневно демонстрировало стране телевидение, с каноническим портретом Ленина над ними – чудом художественного мастерства, сумевшем облагородить самую невыразительную на свете внешность, и, как всегда, почему-то вспомнилась песенка пиратов из «Острова сокровищ»:

Пятнадцать человек на сундук мертвеца

Ио-хо-хо, и бутылка рому...

Здание милиции, двухэтажная коробка из серого кирпича, находилась в самом конце Проспекта Революции, неуместно угнездившись среди одноэтажных деревянных домиков, многие окна которых обрамляли некрашенные потемневшие от времени, кое-где потрескавшиеся и обломившиеся резные наличники.

Их здесь уже ждали. Молоденький белобрысый сержант повел доктора на верхний этаж, и они оказались в длинном казенном коридоре с дверями справа и слева.

– Мы его вывели из камеры, – пояснил сержант, – там народу много, вам будет неудобно работать.

– А что, и вправду писатель?

– Выдает себя за писателя, незнакомые люди, муж и жена, его пожалели и приютили – понравился он им чем-то, три месяца у них прожил, ел, пил за их счет, потом одел их вещи и ушел... – увлеченно докладывал сержант. – Вы только не удивляйтесь, что он босой, туфли у него не свои были, пришлось снять...

Наконец, оказались в большом кабинете. За столом сидел уже другой сержант, тоже молодой, но толстенький, улыбающийся – как свежеиспечённый колобок, рядом согнулся на стуле пожилой седовласый человек в красной ковбойке, голубых кальсонах и белых шерстяных носках, тут же на подоконнике стояли хорошие, судя по всему импортные, светлые туфли.

– А положить его где? – спросил Аветисов милиционеров.

– Класть у нас негде, – пожал плечами колобок.

Пришлось смотреть пациента в положении сидя и стоя.

– Это у меня язва, – сказал обследуемый, отрыгнув. Он морщился, держась за живот,

Несмотря на нелепый вид и обстановку было в нем, безусловно, что-то величавое – высок, седая грива несколько растрепанных волос забрана назад, лицо хоть и красное (О, Бахус, Бахус!) но благообразно львиное, с крупными чертами; морщины его не портили, даже подчеркивали эту благообразность, черные глаза из-под кустистых бровей смотрели куда-то в угол.

На симуляцию, однако, все это как-то не походило, скорее всего, и вправду у него разыгралась язва.

– А в больницу его нельзя? – спросил Аветисов.

– Нельзя, – ухмылялись колобок и белобрысый.

Аветисов сделал обезболивающий укол.

– Спасибо, доктор, – сказал, поморщившись, пациент.

– Ваша фамилия? – спросил Аветисов, заполняя бланк вызова.

– Углев... я писатель... – голос у седого был гибкий, глубокий, теперь он уже не морщился, но все так же смотрел в угол. Сержанты саркастически улыбались.

– Ну и что же вы написали? – недоверчиво спросил доктор.

– «Юг в огне», это о гражданской войне...

Аветисов кивнул. Книжные магазины были завалены литературой такого рода, которую редко кто брал, ему показалось даже, что возможно где-то он и видел это название и эту фамилию.

– Вот так и живет, – тараторил провожая его белобрысый сержант, – поживет у кого-нибудь несколько месяцев, а потом одевает чужое, берет деньги и переезжает в другой город, других дурить...

Много позже Аветисов переехал в столицу, где ему пришлось не раз встречаться с писателями, которые писали и печатались, издавали книги, имели членский билет союза писателей, ходили пить водку в ЦДЛ, но в своем большинстве они чем-то неуловимо напоминали ему Углева, возможно, своим беззаботным стрекозиным порханьем, всеядностью, всегда чутко, как никакое другое племя, чувствующие сладкий запах «халявы», презирающие рутинный ежедневный труд и верность, и в последовательном их появлении, Углев навсегда остался им как бы отцом, пусть даже он и взял название чужой книги и имя напрокат, как те туфли, которые стояли на подоконнике.

Мёртвая точка

Цвинькали у виска часы. Старые отцовские часы «Победа». Крохотные ломтики жизни навсегда отсекали, тоненькие полупрозрачные, как папиросная бумага. Дежурный анестезиолог Романцев пошевелил рукой: секунды стали чуть глуше. Заснуть не давала стоячая мысль о тяжелом черном, как кладбищенское надгробие телефоне. Он недобро поблескивал вороной трубкой в хилом свете луны, проникающем в окно ординаторской. Непредсказуемый, как рок, в любое мгновение взорвется беспощадным оглушительным звоном... Молчит... Молчит, гад... Сколько еще?... Проклятая бессонница! Уж хоть бы зазвонил скорей! Но он затаился, выжидает своего момента, момента неожиданности – вот только забудешь о нем, замечтаешься, расслабишься, начнешь засыпать – тут он и врежет!

«Ну и черт с тобой, – пытался успокоить себя Романцев, закрывая глаза – от судьбы все равно не уйдешь, думай-не думай, хоть бы на полчаса выключиться...»

Но сон не приходил... Вздохнув врач поднял туловище, опустил ноги и оказался сидящим на диване. Поднес кисть к глазам и с трудом различил на белом циферблате стрелки – половина второго. Эти послевоенные бессмертные часы ему отец отдал, когда на вышел пенсию, и нравились они ему больше всяких модных современных, где то черточки вместо цифр, то циферблат прямоугольный да еще не белый, а какой-нибудь коричневый, на котором стрелки еле видны – одним словом со всеми этими модными новшествами, только заставляющими излишне напрягать глаза.

«Ночь, улица, фонарь, аптека... Ночь, телефон, врач... – тупо подумал он, – и так навсегда... до века...» Спать не хотелось, но не хотелось и бодрствовать; не хотелось думать, но не хотелось и не думать, хотелось лишь одного – каким-то образом *не быть*. Он почувствовал как на него падает черная неизвестность и он летит сквозь нее как тепловоз, рассекая прожектором тьму, выхватывая из нее то кусок незнакомого дома, то крону дерева, то заводскую трубу... И не было в этих образах никакого порядка или значения, а было лишь определенное, сказанное до него «Ночь, улица, фонарь, аптека...»

А вот и фонари: белая серебристая цепочка вдоль дороги. Блок чувствовал скуку более эстетизированно – в те времена и фонари были покрасивше, вроде готических башенок, да еще с какой-нибудь ажурной решеточкой – не то что нынешние мыльные пузыри... Там и ледяная рябь канала была... А здесь лишь темные прямоугольники домов, да бессонный красный глаз на невидимой в ночи заводской трубе, чтоб шальной самолет не врезался...

Неожиданно среди черных городских громад вспыхнул желтый квадратик окошка. Ага, вот еще кто-то не спит... Скорее всего дед какой-нибудь от бессонницей мается или стенокардия защемила. Сейчас протопает на кухню, нальет себе корвалола или примет нитроглицерин и авось без скорой обойдется... Может тоже подойдет к окну и увидит вдалеке окна больницы операционной, светящиеся фиолетовым светом бактерицидных ламп и вздохнет.

«Спокойной ночи, Иван Иванович!» – подумал Романцев и, наконец, почувствовал, что и сам хочет спать. Снова растянулся на диване. Зацвинькали у виска секунды, но как-то далеко, не строго, как кузнечики в поле, как сверчок за печью на даче у друзей... Померещился некто – истинный хозяин часов в них обитающий – в треуголке, в мундирчике с пуговками, в плаще, в белых лосинах, с крошечными ботфортами на ногах, размахивающий маленькой сверкающей шпагой... Тело обрело необычайную воздушную легкость и заскользило плавно по наклонной в счастливую бездну беспамятства.

...Визг электропилы прервал это скольжение. Он ввинчивался до самого затылка – звонок! Еще и еще!... Романцев сорвал трубку: «Слушаю!», – как можно более строго и трезво проговорил он, чтобы там, на проводе не возникло и мысли, что он спал.

– Анестезиолога в операционную! – прохрипел не то мужской, не то женский косноязычный голос (Скорее всего – санитарка-пенсионерка).

– Хорошо, – так же строго ответил Романцев, повесил трубку и удивился глупости своего ответа: чего уж тут хорошего?

– Через минуту он шагал по длинному коридору операционной. Впереди двигались белые халаты, гремела о бетонный пол каталка с телом, позади щелкала подошвами вьетнамок анестезистка Маша.

– Что там еще, Маша? – полуобернулся Романцев.

– Ранение. Ножевое, – бросила вдогонку Маша, плотнее затягивая халат.

Романцев ускорил шаг, но догнал каталку только когда ее уже разворачивали у экстренной операционной. Маленькая медсестра Зина вытягивала высоко вверх, насколько роста хватало, руку с флаконом полиглюкина, от которого к руке лежащего свешивалась прозрачная трубка.

– Заходи! Заводи! – командовал рослый со шрамом через всю щеку реаниматор Иванов, помогая закатывать каталку в сверкающую арктическим светом операционную.

Из хирургов в эту ночь был Репях. До пояса голый, с мясницким фартуком до пола, в белой шапочке, он, опустив мощные плечи, тщательно, ноготь за ногтем, чистил щеточкой и омывал руки в тазике со слегка пенящимся дезраствором.

– Ну, давай халат, не канителься, – ворчал он медсестре, она подносила на пинцетах стерильный, помятый (только что из автоклава) халат, и он просовывал в рукава растопыренные лапы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.